

Сомов Орест

Сватовство

Орест Михайлович Сомов

Сватовство

Из воспоминаний старика о его молодости

Гей, гей! та нігде правди діти!

Котляревский

Мне было двадцать лет, и уже преосвященнейший владыка нашей епархии назначал меня ставленником в диаконы; из милости к отцу моему и ко мне ожидал только хорошей вакансии, т.е. чтобы поставить меня диаконом в сытное место, где бы мне можно было со временем быть и священником. Проклятые каникулы все это расстроили; и теперь я, низжайший, состою в чине 9-го класса и буду состоять по конец дней моих; ибо

...чин ассессорский, толико вожденный. как говорит один поэт, мой земляк, вечная ему память!, сей чин ассессорский, говорю, есть для меня кислый виноград, потому что достать его мне век не удастся. Скажете вы: экзамен? - Да, экзамен! Нынешние ваши экзамены для нас, стариков, темна вода во облацех. В старину, бывало, кто знал четко и правильно писать, смыслил, где должно поставить е и где ь, разумел четыре правила из первой части Руководства к арифметике да приметался к делам, - тот был куда знающий человек и ученый чиновник! А ныне у вас математики чистые, да прикладные, да живые языки, как вы их называете, да право римское, да то, другое, третье право... так что, право, от одного вычисления этих прав язык устанет. Где еще! знай-де словесность, умей писать ясно и красно!.. Что-то бы сказали об этом старые дельцы, которых вы, нынешняя молодежь, называете крючками, шпарталистами, крапивным племенем и другими позорными именами? "Какое тут красноречие, - молвил бы из них любой, - где надобно сплеча валять: приказали: понеже и т. далее. И где тут добиться ясности, когда, например, самое дело перепутано как паутина?" Однако я с своим вопиющим горем отбил от настоящего дела. Простите, господа! всему виною лишней десяток лет за плечами да врожденная наша украинская привычка, по которой часом у нас и слова не выманишь, будто губы на замке; а часом, коли бог пошлет охоту язык почесать, - так и не остановишься: откуда слова берутся! Уж подлинно, от избытка уста глаголют!

Может быть, господа, вы дивитесь, переглядываетесь и перешептываетесь: Кто-де с нами говорит? и какой-де след незнакомому человеку затрагивать незнакомых; жителю уездного городка говорить со столичными и простою речью дразнить наш слух, привыкший к отборным выражениям и затейливым приветствиям?.. Извольте, господа! донесу вам о себе все, что следует. Напомню вам только, что я сам был из ученых, и если бы не проклятые каникулы, то, может статься, и до сего дня не разогнал бы с латынью. Как это было, о том следует ниже. Прошу прислушать.

Мне было двадцать лет, - как уже я имел честь донести вам, - я прошел философию и поступил в богословы. Июнь месяц приближался тогда к концу. Я отбыл свой экзамен и отправился в дом родительский, К*** повета в село Кроха-лиевку, где отец мой был

единственным священником многолюдного прихода. Отец мой имел большой почет не только от казаков и мужиков, но и от мелкопоместных дворян, или панков, которых было душ десятка три в Крохалиевке. Правда, и было за что уважать отца Калистрата СластЮну: он сам из предков был дворянин, кроме церковной земли, имел десятин сорок собственной, еще и с лесом. Один сад с плодовыми деревьями был у нас такой большой, что устанешь, бывало, покамест обойдешь его. Прибавьте же к этому еще пасеку, на которой было до тысячи ульев пчел, - да славный доход от прихожан за требы мирские, за христосла-вие, ходы с образами и пр. и пр. - и тогда вы не подивитесь, коли я вам скажу, что отец Калистрат СластЮна не только мог равняться со всеми крохалиевскими панками, но и был зажиточнее любого из них. Многие даже были ему должны немалые суммы денег. Бывало, как он идет в праздничный день по селению, в гродетуровой своей фиолетовой рясе, в светло-зеленом камчатном полукафтаны, в пуховой шляпе с большими полями, держа в руке высокую камышовую трость с позолоченным набалдашником, - то все, от мала до велика, кланялись ему в пояс, изъявляя знаки глубочайшего уважения к его особе. Правда, он умел поддерживать сие высокое мнение о нем в прихожанах: вел себя с надлежащею важ-ностью, не любил куликать на поминках, не любил запрашивать лишнего за требы и торговаться за венчанья и похороны; принимал всегда на себя вид степенный, особливо во время служения, читал молитвы внятно и с расстановкой, говорил медленно и величаво. Одна только молодежь кро-халиевская не совсем была им довольна за то, что обедня у него обыкновенно шла очень долго и что он молодых парней побранивал иногда за шалости.

Казалось бы, что он как первенствующее лицо в своем приходе долженствовал быть полновластным господином своих желаний и действий; так нет, милостивые государи! нередко публичная власть сама бывает подвержена частному, домашнему господству. Это самое было и с моим родителем. Матушка моя нашла средство покорить себе волю своего супруга. Не думайте, однако ж, будто бы она достигла сего упрямством и настойчивостью: совсем нет! такие средства слишком были бы явны, и у отца Калистрата ничего бы ими не выторговал. Матушка моя проложила себе путь вернейший, хотя и околичный. Вот как она обыкновенно действовала: когда видела родителя моего в хорошем расположении духа, то приступала к нему с своею просьбой; и если он наотрез ей отказывал, то она умолкала и выжидала другого удобного случая; не унывая от новой неудачи, откладывала до третьей, четвертой попытки и так далее. Нако-нец, напав на отца моего под добрый стих, она выманивала у него желаемое согласие, руководствуясь в этом, как видно, пословицей: что по капле вода и камень протачивает. Таким образом, отец мой, быв в полной уверенности, что властвует один в своем доме, незаметно разделял свое господство с моею матерью и часто действовал по ее внушению, в противность собственной доброй воле.

Правда, мать моя не употребляла или не смела употребить во зло тайного своего владычества: весь круг ее действий ограничивался делами домашними или семейными; в глазах же обывателей и панков крохалиевских пользовалась она уважением второстепенным, яко второе лицо по отце моем. В частном быту своем была она домовитою хозяйкой: сушила впрок яблоки, груши, вишни и терн; солила грузди, делала вкусный грушевый квас, разные сладкие наливки; особливо ее рябиновка славилась по целому околотку. С отличным искусством разрисовывала к Велику-дню писанки и непостижимым для меня чудом умела сберегать надолго от порчи огромные вороха крашенных яиц, приносимых священнику его прихожанами на поклон о святой неделе.

Но я давно уже отправился из города к отцу моему и все-таки, как изволите видеть, до сих пор туда не доехал. Причина тому самая простая: медленность движения; а почему? узнаете сию минуту. Мы, смиренные студенты философии или богословия, не летали, как городские ваши барычи, на лихих тройках: нет! в этом случае родители нас не баловали. Я уже думал, взяв посох пешехода, в поте лица измерять собственными ногами пространство от епархиального города до родимой Крохалиевки (пространство, мимоходом скажу, не менее осьмидесяти верст); но, по счастью, на городском рынке встретил одного крохалиевского

обывателя, приехавшего туда на трех парах волов для продажи пшена, воску, пеньки и конопляного масла. Сим последним изделием отличался дом этого казака из рода в род; почему и прозвание предка: Олия² - осталось при потомках его как прозвание родовое, с небольшим изменением: Олиенко, показывающим и ремесло родоначальника, и то, что название сие служит как бы словесным гербовником, означающим давность и рода и ремесла его. Панас^б Олиенко, увидев и узнав меня на рынке, подошел ко мне с почтительным поклоном и приветствием: "Добрый день, пане поповичу!". После некоторых расспросов я узнал от него, что на другой день собирался он в обратный путь, и он с охотой вызвался доставить меня в родительский дом, вменяя себе в великую честь, что ему представлялся случай оказать услугу пан-отцу.

Усевшись на передовом возу, запряженном парюю круторогих, статных волов^б, я весело начал свое путешествие, во время которого не приключилось ничего особенного, кроме того разве, что, проезжая вечером чрез большой черный лес, я и проводник мой с своим работником весьма нехладнокровно вслушивались в крик и завыванье филинов и сов, которые суеверными моими спутниками приняты были за ночные проказы леших; а как страх есть болезнь прилипчивая, то - нечего греха таить - и у меня внутренность обдавало холодом; да еще на одном ночлеге мы перетряслись как лист, оттого что над нами пролетела ярко-светлая полоса, которую добрые поселяне почитают за огненного змея, а вы, господа, называете метеором. Кто из вас прав, та или другая сторона - это решить не мое дело, тем более что таковые казусы никогда не поступали в инстанцию, по которой я имею честь состоять в числе штатных чиновников. Наконец, в третий день около полудня мы завидели с одного пригорка благословенное село Крохалиевку. Узрев высокую колокольню, на которую в бытность мою еще в родительском доме часто я лаживал поддирать голубиные гнезда или звонить на разные напевы о святой неделе, - я, признаюсь в моей слабости, прослезился от умиления. "Dulce fumus patriae" - твердил я, сидя на возу и погоняя батогом ленивых волов, тогда как взоры мои были устремлены на густой дым, подымавшийся столбом из винокурни одного крохалиевского панка. Панас Олиенко и работник его, думая, что я говорил рацею, благоговейно сняли шапки и перекрестились раза по три. С каждым медленным шагом волов сердце мое билось сильнее и сильнее. Одна только природная застенчивость, один только ложный стыд не позволяли мне вскочить с воза и, припав к земле, целовать родную пыль.

"Но всему есть свой предел", - говаривал покойник мой батюшка, утешая назидательною беседой своих прихожан во время смертных случаев. Так и тихоступному шествию волов был же свой предел. Я встал с воза, в коротких словах отблагодарил Панаса Олиенко и скорым шагом пустился к дому отцовскому. Не берусь описывать минуту свидания: скрип пера слабо выразил бы визгливые изливания чувства и радостные всхлипывания доброй моей матери!

После первых родственных объятий и осведомлении о том и о другом беседа потекла у нас спокойнее, подобно реке, которая, прорвавшись сквозь кремнистые ущелья, начинает плавно течь в берегах своих. Батюшка расспрашивал меня об экзамене; матушка заговаривала о женитьбе. Это слово, не знаю сам почему, показалось мне на сей раз что-то страшно, как будто бы я впервые пристально заглянул в глубокий колодезь, в котором и дна не видно, и вода словно подернута какою-то черною, непроницаемою для взора влагой.

Случай, который часто действует, как те назойливые услужники, кои некстати подвертываются к вам с своими угождениями.

И любят хлопотать, где их совсем не просят случай удивительно помог моей матушке в брачных ее видах на счет мой: У нас в Крохалиевке завелась свадьба. Какой-то понытик поветового суда из ближайшего городка вздумал жениться на одной из барышень, которыми обиловало наше селение, как сад моего отца в летнюю пору сладкими грушами и сочными вишнями. Отец мой говаривал, при урожае, что деревья в его саду так и ломаются от плодов; слава богу, что этой поговорки нельзя применить к улицам и красным девицам: иначе я был бы в сильном страхе, что нашей Крохалиевке не сдобровать от изобилия плодов земных и

временных, коими в хорошую погоду красовались все лавки у ворот в панских домах благословенной и многоплодной Крохалиевки. У иного дома, право, можно было их насчитать от шести до осьми. На сей раз одному из этих плодов, по большей части зрелых, надлежало выбыть из общего счета. Батюшка мой, соблюдая приличие своего сана, никогда не хаживал на свадебные пиры; его и оставили в покое, зато к матушке моей и ко мне приступили со всею настойчивостью провинциального хлебосольства. "Будьте ласковы, таки пожалуйста, не побрезгайте нашею хлеб-солью". Но у матушки моей были также свои понятия о приличиях сана попадьи, яко помощницы и верной спутницы пан-отца на пути жизни. Она также решительно отказалась, утверждая, что духовному чину некстати быть на весельях и мирских забавах. Оставался один я,- и признаюсь, не от чего иного, как от застенчивости, тоже сперва отказался; но на этот раз матушка моя приняла сторону гостеприимных приглашителей и доказывала мне, что молодому человеку, живущему в большом свете (т. е. в бурсе епархиального города), стыдно уклоняться от честных увеселений, что я не жена, а только сын священника и доселе состою покамест еще в светском звании. Я, сказать правду, не вовсе был недоволен аргументами моей родительницы: мне самому хотелось понасмотреться вблизи, как веселятся паны; ибо до тех пор я видал их только издали.

Оставшись со мной наедине, матушка моя умела оживить мою бодрость. Она твердила мне, что я как житель губернского города и человек ученый могу везде иметь почетное место; что сельские мелкопоместные панки люди незамысловатые, да и поезжаные с жениховой стороны тоже; ибо все они не больше, как неважные чиновники поветового городка, все они видели свет только из окна и что, наконец, я любого из них могу загонять красноречием и латынью. Это надмилло мне душу честолюбивым желанием блеснуть умом, ученостью и светскою ловкостью в Крохалиевке. Настал желанный день, и я с самого утра начал заботиться о своем наряде и приготовлениях, чтобы как можно лучше явиться в большой кро-халиевский свет. Опойковые свои сапоги, немного порыжелые, смочил я раствором из купороса, а после тщательно натер конопляным маслом с солью, что придало им необыкновенную черноту и даже некоторый лоск. Серый свой долгополый сюртук, сшитый мне родителем моим на рост, когда во мне было два аршина и девять вершков с половиною, вычистил я так, что на нем не осталось ни порошинки. К этому, чтоб больше блеснуть в глаза деревенских барышень яркостью красок и тонкостью вкуса, надел я алый камзол и застегнул его по самое горло позолоченными пуговками. Матушка ссудила меня шелковым платком оранжевого цвета, с волнисто-радужными коймами и серебряными цветами по углам; я повязал этот платок на шею, распустя длинные концы его так, что волнисто-радужные коймы и серебряные цветы приходились у меня на самой груди. Одевшись таким образом, я посмотрелся в зеркало: блеск ослепительный! Красный цвет и оранжевый, радужные коймы и серебро платка, золото пуговиц - все это составляло чудную, изящную пестроту и спорило между собою о первенстве на одобрение вкуса самого разборчивого. Я вычесал лавержет⁹ свой частым гребнем и намазал его самым свежим коровьим маслом. В таком убранстве я предстал на предварительный суд моей родительницы.

Матушка моя ахнула от изумления, видя такое великолепие и вместе изящество, соразмерность, стройность и вкус. "Пускай же,- говорила она,- эти городские паньчи выхвалятся перед тобою своим убранством; на них все: то черное, то белое, то синее, а на тебе все как жар горит!" Я и сам был того мнения, что городские моды скудны и однообразны, и считал, что мне как человеку просвещенному, живущему в центре губернской образованности и которому за латынью в карман не ходить,- что мне, словом, можно по праву быть оракулом моды в Крохалиевке. Являюсь в дом отца невесты - ровно в одиннадцать часов утра. Комнаты все полны гостей; девушки, молодые и пожилые, разряженные в пухпо самой последней моде, существовавшей тогда в Крохалиевке, либо сидят чинно по местам, ужимая губки и перебирая пальцами по обыкновенной привычке малороссийских панянок, либо вертятся

як в окрипи муха по выражению одного поэта, тоже моего земляка, которому дай бог петь и

здоровствовать многие лета! Городские паньчи, иные в черных либо синих фраках, другие в губернских мундирах, оскалили зубы при моем появлении. Я оторопел; однако ж, помня слова моей матушки и собственное сознание в щегольском моем наряде, молвил сам себе: зависть, зависть! Иному из них, может быть, и не из чего одеться, как я; вот они и принарядились в кургузые фракки, чтобы меньше сукна выходило на платье. Мысль сия снова меня ободрила. Я раскланялся на все стороны и пустился искать хозяйку дома. Она подносила тогда своеручно гостям водку; я сунулся, чтобы поцеловать у ней руку, толкнул локтем большой поднос - графины, чарки зазвенели и повалились на бок, водка полилась на пол и на платье хозяйки; счастье еще, что она удержала поднос в дюжих руках своих! Однако же общий смех гостей - адский, скребущий по сердцу смех - раздался вокруг меня. Поцеловав руку хозяйки, я торопливо отдернулся назад в то самое время, когда она наклонилась, чтоб отдать мой поцелуй мне в голову... Новая беда! головою стукнул я ее в лицо так сильно, что искры посыпались у ней из глаз, а из носу чуть не брызнула кровь. Хозяйка вскрикнула невольно и захватила себе лицо левою рукою, в то время как один услужливый паньч поддержал у нее поднос и тем предостерег питейные снаряды от конечного разрушения. Признаюсь, тут я обомлел с испугу; не видел, где стоял, и чуть не бросился бежать опрометью вон из дому. Если бы не слова: "Ничего, ничего!", сказанные снисходительною хозяйкой, когда она опомнилась от удара, то я, верно, повершил бы свои подвиги быстрым побегом.

Милостивые государи! случалось ли вам когда купаться почти под самыми мельничными колесами? Нет? А мне так случалось. Какой шум! какой оглушающий рев! Вода то плещет на вас сверху широкими струями и прибывает вас ко дну, то подмывает снизу и выносит вас наверх; то, кажется, шум на минуту притихнет, то снова поскачут водяные валы с колеса и с грохотом и зыком обдадут вас белою пеной... Голова закружится, дыхание захватывается, силы истощаются - и рад-рад бываешь, когда выберешься на берег. Вообразите себе такой же гром и треск и раскаты и переливы хохота, который падает на вас, как тяжелые волны речные, тягчит, давит вас; и вот, кажется, затих, - и вот снова сыплется на вас дребезжащим громом.. Вообразите себе все это и вообразите меня в этом положении!.. Кажется, рад, бы провалиться сквозь землю, рад бы окаменеть, чтоб не видеть и не слышать этого буйного прилива веселости, от которого одному только горе, и этот один - именно я, я сам, несчастнейший из всех семинаристов минувших, настоящих и будущих! Никогда насмешки резвых товарищей, никогда едкие шутки дерзких чумаков¹¹, предлагающих скромному пешеходу батог, чтобы погонять им природную пару, не казались мне столь обидными. Да и как не огорчаться, как не досадовать? С самого первого шага я сделался посмешищем того общества, которому хотел предписывать законы моды и приличий... О мать моя, как ты обманулась и как обманула бедного твоего сына!

- Все это не беда, препочтеннейший и вселюбезнейший! - сказал, подошед ко мне, какой-то старый, запачканный крохобор, приехавший из города в числе приятелей жениховых. - Вы здесь человек новый: я слышал, недавно приехали, и прямо из губернии. Мы не знаем тамошних ваших обычаев, а вы наших. Может быть, там от молодого человека требуют на первых порах чокнуться головою с хозяйкой дома и совершить водочное излияние, примером будучи, хоть бы в честь усопших родителей. Для нас, темных людей, это дико; но вы не унывайте и продолжайте так же, как и начали...

Чтоб тебе подавиться этими словами! думал я, смотря на бездушную, хладнокровную харю этого старого сыча и слыша возобновившийся хохот, между тем как мой краснобай стоял передо мною без малейшей улыбки и только рассматривал меня с ног до головы такими глазами, как будто бы хотел всего меня затвердить наизусть, дабы потом снять с меня заочно план с фасадом. Гнев кипел во мне; но что было делать? Если б это случилось на улице, то я, может быть, употребил бы *argumentum baculinum*, чтоб убедить этого окаянного старичишку в ложности его мнения обо мне и в неприличности его речей; но здесь, в многочисленном собрании, это значило бы выставить себя вполне сумасшедшим. Не зная, что начать, я стоял по-прежнему как вкопанный.

К счастью моему, хозяин и хозяйка подросли ко мне на помощь. Им неприятно было, что сын человека, ими уважаемого, духовного их отца и (чтобы ничего не утаить) человека, которому они были должны, осмеян был в их доме. Хозяин, взяв меня за руку, повел знакомить со всеми своими гостями поодиночке. Уже не смех, а едкие улыбки мелькали передо мной посменно. Девушки, забыв малороссийскую скромность, захватывали себе лица белыми платочками при взгляде на меня и, казалось, все еще тишком хохотали. Одна только смотрела на меня с участием, укоризненно поглядывала на своих смешливых соседок, и когда меня подвели к ней, то она, покрасневшись, пролепетала мне какое-то приветствие - помнится, вопрос о здоровье моей матушки... Нет! самолюбие и благодарность меня не обманывали: она точно была прекраснее всех в этом обществе. Темно-голубые глаза ее смотрели так умильно, светились таким тихим, живительным огнем, что истинно сулили рай на земле. Свеженькое, кругленькое, беленькое личико ее озарялось тонким румянцем, который пристыдил бы алые персты древней Авроры. Прибавьте к этому кротость и доброту, живо написанные на лице красавицы и отражавшиеся во всех ее приемах, во всех ее движениях; невысокий, но стройный стан, милую круглоту форм, заявлявшую цветущее, сельское здоровье... Видите ли, господа, что и я сумею говорить по-вашему, когда чувство согрето во мне сладостным воспоминанием.

Короче, вид этой девушки помирил меня со всем свадебным обществом. Правда, меня потом оставили в покое, может быть в угоду хозяевам, которые явно оказывали мне свое внимание. Барышни все еще между собою перешептывались, оскаливая зубки; но мало ли о чем перешептываются малороссийские панянки? Это меня и не тревожило. Я сел в углу и оттуда выглядывал на собрание; чаще же всего и пристальнее посматривал на белокурую красавицу, которая отвела мне душу своим участием. Таким образом дело протянулось до обеда. Не знаю, по какой игре судьбы я очутился за столом как раз насупротив моей белокурой красавицы, и, с умыслом или без умыслу, насмешливый крохобор сел подле меня по левую сторону. "Вот истинный образ истязания души после смерти! - думал я. - Видишь рай вдали - и чувствуешь ад подле себя так близко, что, кажется, из него пышет на тебя поломя!" Сосед мой, по-видимому, понял неприязненное мое к нему расположение и потому всячески старался со мною заговаривать, начав обыкновенным провинциальным осведомлением: "Позвольте спросить, препочтеннейший, о вашем имени и отчестве?"

- Демид Калистратов сын Сластѐна,- отвечал я отрывисто и неохотно.

- Воистину, так сказать, лакомое прозвание вы носите, препочтеннейший! - продолжал он. Я молчал.

- Не здешнего ли священника бог порадовал таким сыном? - был новый вопрос неотвязного соседа.

- Отгадали, - отвечал я по-прежнему.

- А! так вы сын здешнего священника, отца Калистрата? Радуюсь и поздравляю его и вас совокупно. Мы люди темные, неученые; однако же знаем, что у него дом как полная чаша, поля столько, что глазом не окинешь, с лесами, садами, сенокосами, пасечными местами и всякими угодами. А пасека! обойти повета два-три, такой не сыщешь. Больше же всего благословение божие состоит у него в сундуках, лежащими. Правда ли, препочтеннейший, что у пан-отца наберется тысяч до двадцати целковыми?

- Я не считал отцовских денег, - молвил я с досадой,

- Мы тоже не считали, да слухом земля полнится, особливо судя по тому, что у батюшки вашего роздано в долг, сиречь заимообразно, тысяч до десятка. Вот, недалеко сказать, и здешний хозяин должен ему чуть ли не пять или не шесть тысяч... Сколько именно, примером будучи?

- Не знаю, - отвечал я докучному расспросчику. Между тем мысль об известности и богатстве отца моего придавала мне бодрости. Я стал уже веселее и вольнее поглядывать вокруг себя, смелее пересылался взорами с милостивою белянкой, которая тоже исподлобья на меня посматривала и, кажется, не вовсе не ласково. Частые приемы наливок, подносимых радушными хозяевами, довершили остальное: к концу стола и язык у меня развязался. Сосед мой, начавший со мною знакомство язвительною выходкой, теперь всячески старался угодливостью своею заглушить во мне неприятное впечатление первых речей его. Подметя частое мое переглядыванье через стол, он вдруг обратился ко мне с следующей речью:

- Вот поистине, так сказать, предостойная девица, примером будучи, хоть кому невеста: шестнадцать лет и семь месяцев от рождения, пригожа, статна и одна дочь у матери как порох в глазу. А матушка ее человек нескучный: есть свой хуторок, винокурня и того-сего прочего наберется не на одну тысячу. Да кому знать лучше, коли не вашим родителям? Матрона Якимовна также состоит им должною, то за хлеб для винокурни, то по другим счетам. Вот бы, думаю, она была рада-радехонька, когда бы долг ее уничтожился родственною сделкой. За сватами бы дело не стало; вот хоть бы, примером будучи, скажу о себе: не одну свадьбу удалось мне сладить на своем веку, лишь бы предвиделась посильная благодетельница...

Я сидел как на иголках в продолжение сей речи; притворялся, будто бы не слушаю назойливого соседа, а по совести, не проронил мимо ушей ни одного слова. Дивился я, каким образом этот запачканный человечек знал так подробно домашние дела наши и всех панов крохалиевских, и решился поплатиться с ним вопросом: "Позвольте спросить о вашем имени и отчестве?"

- Зовут меня Савелий Дементьевич Пересыпченко, - отвечал он без малейшей запинки как человек, издавна привыкший к подобным допросным пунктам. - Может быть, вам благоугодно также знать мое звание и занятия? продолжал он. - На сие имею честь объявить, что я отставной канцелярист земского суда и ныне занимаюсь хождением по делам, да продажей движимых и недвижимых имений по доверенности, да свадебными и другими-прочими сделками. Спросите по целому совету о Савелии Дементьевиче Пересыпченко; все, от мала до велика, вам скажут: то-то делец! то-то честный и бескорыстный человек! с ним верите ли его как у бога за печкой; а уж свадьбу состряпать - его подавай: будь хоть отцы жениха и невесты смертельные враги между собою, он их помирит и умаслит так, что они сами не прочь обвенчаться.

Я молчал, заметя, к чему клонилась эта затейливая речь. Стол кончился; но наливки не переставали кружиться по собранию и кружить головы тех из гостей, которые не совсем были привычны к подобным попойкам. К числу таковых гостей принадлежал и я. В голове у меня порядочно стучало. Я обнимался и целовался со всяким, кого встречал, болтал почти без умолку и отпускал латинские фразы кстати и некстати. Скоро после обеда вошли в комнату гусли и два скрипача, за которыми жених нарочно лосылал в город. Я начал притопывать ногою и приплясывать в ожидании, что музыканты заиграют горлицу либо метелицу - пляски, с которыми я не вовсе был не знаком. Судите же о моей досаде, когда они забренчали и заскрипели какие-то заморские контратанцы, отроду мною неслыханные и невиданные. Городские паньчи, подметя, что я прежде разминал ноги для пляски, настроили невесту, чтоб она пригласила меня танцевать... Я сперва отговаривался; но после подумал: ведь не боги ж горшки обжигают! взял какую-то дородную и пожилую девицу и стал в числе пар. Доходит очередь до меня; я выступаю как журавль, ноги мои гнутся, скользят товправо, то влево, путаются и - о верх несчастья! я падаю и увлекаю за собою дюжую мою даму.. Можно вообразить ее гнев и смех целого собрания!.. Дама моя, с визгливой бранью и слезами на глазах, вскочила и убежала в другую комнату, но я - я не в силах уже был подняться. Жених и два или три паньча поставили меня на ноги и, видя, что голова у меня кружилась, отвели в особую каморку и уложили на постелю. Что было далее в этот бурный для меня день, я ничего не помню и не знаю...

Рано поутру я проснулся, когда еще по целому дому раздавалось громкое, единоголосное храпенье гостей, от которого дрожали на потолке переборы. Голова у меня была тяжела как свинец; смутно припоминал я себе все, что случилось со мной накануне; когда же дошел в памяти до несчастного падения, которым повершил вчерашние свои подвиги, то вздрогнул, как убийца при воспоминании о перед-смертном трепетании своей жертвы. Стыд, досада на себя и на других, страх новых насмешек, унижение в глазах миловидной белянки все это возвратило мне силы, отнятые вчерашним перебоем. Я спехом оделся, как сумасшедший рванулся в дверь и побежал без оглядки к дому отцовскому. Там ожидали меня нежное участие матери и пасмурный вид отца, который встретил было меня строгим выговором за неумеренность, неприличную моему возрасту и будущему сану; но матушка приняла мою сторону и робко, тихим голосом (средства, кои всегда удавались ей с отцом моим) старалась меня оправдать. "Дело свадебное, - говорила она, - хозяева обиделись бы, когда б наш Демид не по полной выпивал за здоровье жениха с невестой и всего благословенного дома". Отец мой убедился сими доводами, и домашняя гроза пронеслась мимо меня без дальнейших следствий.

Из благодарности к моей матери я удовлетворил ее любопытство, когда мы остались с нею глаз на глаз, и рассказал ей подробно все - все, что помнил. Признаться, я скрасил немного темные пятна в моем рассказе, и виноваты у меня были другие, а не я; зато радужными цветами расписал белокурую красавицу, столь явно принимавшую во мне участие.

- Из слов твоих я догадываюсь, кто она такова, - сказала мне матушка, пусть у меня язык отсохнет, если это нет Настуся Опариевна, дочь Матроны Якимовны Опариихи.

- Точно так называл мне ее мать новый мой знакомец, Пересыпченко...

- Кому уж больше быть, как на ей! - подхватила матушка, - она знает, моя голубушка сизая, у ней сердце чует, что это был ее нареченный жених.

- Как нареченный жених? - вскрикнул я в каком-то страхе, смешанном с чувством радости.

- Да так: у меня это давно уже положено на сердце, и я не раз заговаривала с Настусей; не говорила только еще с ее матерью. Видишь, она такая неприступная, панья во всю губу, как будто и бог знает что!.. Ну, да его святая воля! а без сватов дело не обойдется.

За ними дело и не стало. Спустя дней пять вдруг послышался почтовый колокольчик на улице, звенел, звенел и утих перед самыми нашими воротами. Я выглянул в окно и увидел сходящего с повозки моего свадебного знакомого, Савелия Дементьевича Пересыпченка... Тогда так бывало в нашей безответной Малороссии: кто назовет себя капитан-исправником, заседателем, судьей, подсудком, словом сказать, кем-либо из судебных, их родню, благоприятелем или просто погрозит их именем да привяжет к дуге колокольчик, - тому, бывало, безотговорочно дают по тройке с проводником из обывательских. Теперь это вывелось; а жаль! нашему брату не держать же своих лошадей или не платить прогонов, когда миром от селения до селения, от волости до волости могут нас довести хоть на край света или, по крайней мере, из конца в конец по всей Малороссии. Скажете вы: по какому праву? И, отцы мои! да по тому праву, что в селах обыватели народ простой; а нас, каковы мы ни есть, все-таки величают панами.

Во время вышеупомянутого посещения сидел я в светлице и занимался сочинением проповеди, которую, по совету отца моего, намерен был сказать в следующее воскресенье, дабы блеснуть красноречием перед мирянами крохалиевскими и подать им высокое мнение о моих дарованиях и учености. Лишь только завидел я Савелия Дементьевича, у меня на сердце похолодело: проповедь, и ученость, и красноречие мигом испарились из головы моей. Отца моего не было дома: он уходил для каких-то треб; матушка тоже занималась хозяйством. Я один должен был встретить приезжего.

- Здравствуйте, препочтеннейший и вселюбнейший Демид Калистратович! сказал он, входя в комнату.- Я приехал к вам за важным делом, по поводу, примером будучи, Настасьи Петровны Опариевны. А чтобы пан-отец, какова не мера, не подумал, что я навязываюсь на такую услугу, которой он от меня не ждал и не просил, то у меня готовы и сепаратные пункты: хочу торговать у него мед и воск да попросить займы денег для одного надежного человечка.

Я молчал; да и что мне было отвечать? Отказаться от его услуг - значило как будто бы показать холодность к милой Настусе и заставить навязчивого, всесветного свата подъехать с другим женихом. Он и принял мое молчание в таком виде, как ему хотелось, т. е. счел его знаком согласия; но как тонкий знаток провинциальных приличий искусно переменял разговор и повел бесконечную речь о городских новостях, о сплетнях, шашнях господ судовых и право, всего не припомню.

К счастью моему, матушка скоро вошла в комнату. Дело между ею и Савелием Дементьевичем сладилось ко взаимному удовольствию: условились, чтобы хитрый сват подкрался к отцу моему с предложением, как бы нечаянно напав на эту мысль. Как сказано, так и сделано. Отец мой, выгодно продав свой мед и воск, стал мягок и уступчив; и хотя сначала неохотно слушал о родстве с Матроной Яки-мовной, осуждая ее за излишнюю спесь, но когда пан Пере-сыпченко напал на него всею силою деловой своей логики, то батюшка мой начал убеждаться его доводами. Обед и наливки уладили остальные затруднения.

Жребий был брошен; меня обрекли в женихи милой Настуси. Через неделю Савелий Дементьевич должен был приехать для большей важности с другим еще сватом, верным своим подручником, и отправиться к Матроне Якимовне. До этого времени, чтоб рассеять волновавшие меня мысли и сократить минуты ожидания, усерднее прежнего занялся я сочинением моей проповеди. Предметом оной было увещание к братской любви; я грозно восставал против презорства и кощунства мирского и текст выбрал следующий: Блажен человек, иже и скоты милует. Признаюсь, у меня лежал на душе обидный хохот, которым меня чуть не оглушили на свадьбе.

Проповедь кончена, пересмотрена, переписана набело, прочтена моему отцу, одобрена им и сказана мною в следующее воскресенье. Я надеялся произвести ею сильное впечатление в слушателях, особливо в барышнях крохалиевских: надеялся пробудить в них угрызения совести и заставить их внутренне сознаться в тяжком их грехе предо мною; и что же? Барышни перешептывались по своему обыкновению, набожные старушки поминутно клали земные поклоны, не вслушиваясь в порывы моего красноречия; а два-три старичка подремывали под шум моих возгласов. Одна только девушка слушала прилежно и, казалось, угадывала мое намерение; нужно ли доказывать, что это была Настуся Опариевна? Досада моя на невнимательность всех прочих с избытком вознаграждалась ее вниманием, и я не напрасно метал бисер отборных метафор, синекдох и гипербол.

Впрочем, по окончании обедни все паны и паньи крохалиевские забросали моего отца поздравлениями и похвалами моему красноречию, уму и учености. Тут я понял, что с людьми темными и необразованными всегда возьмешь высокопарностью и напыщенным слогом: чем менее они поймут, тем более будут дивиться и расхваливать. Этому и теперь я вижу частые примеры, когда случается мне заглянуть в ваши нынешние журналы да вслушаться в толки наших провинциалов: чем бестолковее суждения и слог журналиста, тем больше предполагают они в его статье ума и глубины. В том-то, думают они, и мудрость: написать так, чтоб никто не понял; а слова подобрать и разместить таким образом, чтобы чтец на каждой строке запинался и переводил дух. Одна красная обертка журнала уже служит для них верною порукой за красноречие издателя.

Настал желанный четверток. В десять часов утра снова колокольчик зазвенел по улице и опять затих перед нашим домом. Погода немного, вошли наши сваты: Савелий Дементьевич

с каким-то приземистым, плотным и краснолицым человечком; оба они были навеселе. Около часа потолковав о деле, мы сели за ранний обед, и он для нетерпеливого жениха бог весть как долго протянулся в потчеваньи да в шутках и прибаутках, которыми рассыпались оба свата. Вышед из-за стола, они почувствовали, что язык их прилипал к гортани. Им отвели особую комнату, через сени, и они легли там отдохнуть, а я между тем занялся своим убранством. Уже я не решился надеть ни красного жилета, ни оранжевого платка на шею: за исключением бессменного моего долгополого сюртука, я старался нарядиться сколько можно ближе к тому, как одеты были городские паньчи на свадьбе. Часа через два сваты мои встали как встрепанные. Отслушав вечерню и получа родительское благословение, отправился я с своими сватами в отцовской голубой тарадайки с желтыми и красными мережками прямо к дому Матроны Якимовны Опариихи.

Приезжаем. Босоногая служанка с растрепанными волосами встречает нас и объявляет, что панья просит обождать. Сидим и ждем час и другой; а между тем из ближней комнаты раздаются громкие и бранчивые приказания Матроны Якимовны то тому, то другому из ее домашней челяди.

Я теряю терпение и бодрость; но сваты мои стараются снова ободрить меня своими побасенками и забавными замечаниями насчет всего, что видят в одной комнате и слышат из другой. Наконец является Матрона Якимовна, высокая дородная женщина со вздернутым носом, пухлыми щеками и чванливым взглядом. На голове у ней был шелковый платок, по^вязанный наколкой, как у городских мещанок; на ногах голубые шерстяные чулки и башмаки без задников, с высокими каблуками; прочий наряд ее составляли шушун и юбка ситцевые с большими разводами ярких цветов да клетчатый бумажный платок на шее. Несмотря на то, ни одна знатная дама, во всем блеске пышности и убранства, не приняла бы нас так сухо и спесиво, как Матрона Якимовна.

Старший сват, т. е. Савелий Дементьевич Пересыпченко, повел речь обиняками, чуть ли не от сотворения мира, и заключил ее сими замечательными словами: "От власти божией не уйдешь. Старое стареет и валится, а молодое цветет да молодеет. Примером будучи, сказать вот и об вашей дочке: уж хоть куда невеста. Такой дорогой товар не залежится у матушки на руках. А вот у нас и купец находится: кланяемся вам и просим вашей ласки к нам и нашему жениху".

Матрона Якимовна сделала какую-то двусмысленную ужимку губами и молча указала нам на стулья; мы сели. Минуты две-три она как будто собиралась с мыслями; наконец начала говорить протяжным голосом и с длинными остановками, более как бы вслух рассуждая сама с собою: "Конечно, мне нечем укорить и сватов и жениха... Сваты люди хорошие, в офицерских чинах; бесчестья никому не сделают... Жених человек молодой и видный, имеет звонкий и явственный глас; я это слышала прошлое воскресенье в обедню... И дом очень достаточный; он же всему один наследник... Только можно ли тому быть, чтоб моя дочка, Анастасия Петровна Опариевна, сделалась попадькой!.."

- Почему же нельзя, матушка Матрона Якимовна?- спросил старший сват.

- Статочное ли дело! Дедушка ее, Гордий Афанасьевич, был Стародубского полка канцеляристом; батюшка ее, Петр Гордиевич, служил в генеральном суде регистратором. Сама я тоже не простого рода: покойные мои родители, с тех пор как свет стоит, слыли панами... А дочь мою стали бы величать попадькой!.. Нет! тому не бывать.

- Да ведь духовный чин тоже чин, препочтеннейшая Матрона Якимовна! Вспомните, что от начала веков людизнатные выдавали дочерей своих за людей духовного звания. Лаван, примером будучи, был знатный господин, потому что у него были свои рабы, по-русски, так сказать, крестьяне; а Лаван выдал обеих дочерей своих за Иакова, который был, как Писание гласит, патриарх, следовательно, духовного звания.

- А я вам скажу, - отвечала Матрона Якимовна решительным тоном, - что хотя бы дочь мою сватал за себя патриарх цареградский, от которого в прошлом году бродил здесь какой-то греческий чернец и собирал вклады на церковь, то и этому патриарху отказала бы я и слова не сказала.

- Однако позвольте вам сказать, многомилостивая государыня Матрона Якимовна, что родитель нашего нарекаемого жениха, отец Калистрат, тоже дворянин и по силе реченного звания владеет землями и всякими угодьями...

- Да без крестьян. Какое уж это панство, когда и своих людей нет?

- Истинно так, препочтеннейшая Матрона Якимовна! Вот у вас, примером будучи, благодаря бога, душ пять-шесть ревизских наберется. Из них, помнится, двое в бегах, один умер, да еще один отдан в рекруты; а все-таки с подростками и малолетними можно будет насчитать душ восемь мужеска пола. У отца Калистрата, конечно, этого нет; зато у него есть другое благословение божие, из которого мог бы он купить порядочный хуторок, примером будучи, душ в пятьдесят наличными.

- Верю, что мог бы, когда бы сына своего повел не по духовному званию, а записал бы где-нибудь в статскую службу, особливо в губернском городе. Тогда и у нас пошло бы дело на лад: за дворянина в офицерском чине я просватаю свою дочку; а просто за попovichа, не прогневайтесь, нет! велико слово, нет!

- Ну, коли это последнее ваше слово, матушка Матрона Якимовна, то делать нечего. Мы постараемся упросить да умолить отца Калистрата, чтоб он позволил Демиду Калистратовичу выйти из духовного звания и вступить в статскую службу; хотя, правду сказать, и не надеемся на успех. Обещайтесь же и вы, препочтеннейшая, что на случай, паче чаяния, согласия со стороны пан-отца вы ни за кого не отдадите своей дочки, пока Демид Калистратович не выйдет в чины.

- Обещаюсь, если ей не сыщется лучшего жениха.

- Нет, матушка Матрона Якимовна: коли деле пошло иа условия, так подлежит оным быть в надлежащем и благонадежном порядке всенепременнейше...

- Ну, хорошо,- перервала Матрона Якимовна с прежнею двусмысленною ужимкою и как будто стараясь поскорее отделаться,- вот вам мое слово, что буду ждть до первого офицерского чина Демиды Калистратовича.

Разговор на минуту перервался и завязался потом о предметах посторонних. Я молчал и с каким-то смутным ожиданием поглядывал на дверь, из которой вышла Матрона Якимовна. Погодя немного она оборотилась к этой двери и закричала богатырским голосом: "Анастасия Петровна! соорудите нам чаю!"

Я думал, что теперь-то увижу Настусю; напрасно. Через полчаса времени чай, разлитый по чашкам, был принесен тою же босоногою служанкой, которая встретила нас у две-рей. Сваты мои приветливо улыбнулись стоявшему на подносе графину с кизлярскою водкой домашней работы и бросились на него, как вороны на труп. Матрона Якимовна и меня потчевала кушать чай с водкой; но я не дотрагивался до графина, хотя, признаться, настойка из какой-то травы, названной как бы в насмешку чаем и смешанной с шафраном¹⁶, почти не шла мне в горло. Что касается до самой хозяйки дома, то она кушала этот чай с водкой весьма охотно.

Мы посидели еще несколько времени. Сваты мои ревностно поддерживали свою двойную славу: записных гуляк и весельчаков малороссийских, исправно осушали чашку за чашкой, делая при каждой умышленное "ух!", т. е. подливая водки вдвое против чайной воды и сопровождая сию затейливую неловкость шутками и побасенками. Наконец мы уехали - сваты

с шумливым весельем, а я с безмолвною печалью.

Отец мой, как и должно было ожидать, с негодованием отверг условия Матроны Якимовны. Что мне было делать? Я чувствовал, что любовь моя к Настусе, еще более подстрекаемая препятствием, усиливалась со дня на день. Но пособить горю было нечем. Отца моего в некоторых случаях невозможно было переспорить. Я начал задумываться, грустить и даже сохнуть. Уже ни ученье, ни будущий экзамен, ни столько льстившая мне прежде перспектива выгодного прихода не шли мне в ум. Одна только Настуся, с ее милостивым личиком, с ее румяными щечками, с ее белокурыми волосами, ежеминутно напо'лняла мое воображение. Короче, я любил так, как только любят в двадцать лет,- любил всеми силами души моей.

От нечего делать и чтоб рассеять мою тоску, бродил я по таким местам, где реже мог встречаться с людьми, и почти всегда невольно выбирал для уединенных моих прогулок рощу, лежавшую за садом Матроны Якимовны. Мысль, что там я несколько поближе к Настусе, была для меня отрадой.

Однажды я подкрался к самому плетню, которым обнесен был сад г-жи Опариихи. Взглянув через плетень, я увидел, что по саду прохаживалась Настуся и задумчиво напевала какую-то заунывную песенку. Сердце во мне забилося, как щука в сетях. Я пригнулся за плетнем и посматривал сквозь просветы оною на милую девушку. Вот она, как будто по невольному влечению, идет прямо к тому месту, где я стою, вот ближе и ближе... Чтоб не напугать ее нечаянным моим появлением и не навлечь каких-либо предосудительных для меня подозрений, я прилег у плетня в густой высокой траве и притаил дух. Настасья Петровна между тем подошла к самому плетню, стала одной ножкой на переплет, другою выше, потом еще выше... Я лежал ни жив ни мертв от страха и радости, от страха, чтоб не быть замеченным, и от радости, что Настуся так близко... Покамест она взлезала на плетень, я старался наклонять над собою траву и успел в этом так, что меня вовсе не стало видно. Вот уже белокурая моя красавица на верху плетня, ветерок развеивает ее шелковистые волосы, лицо ее горит одушевленным румянцем... Она озирается вокруг внимательным взором, подобно тем баснословным божествам Востока, которые слетали в наш мир, чтобы помогать страждущим, и с воздушных высот обозревали землю. Погодя немного мечта моя еще более осуществилась: Настуся точно слетела вниз, соскокнув с плетня, и упала своими маленькими красивыми ножками прямо мне на грудь... Как ни сладостна была для меня сия драгоценная ноша, однако я крикнул от боли. Настуся испугалась, оторопела, запуталась ногами в густой траве и упала на меня... круглые, зыбучие формы ее тела легли мне на лицо; голова свесилась в траву... Нечего было медлить: я обхватил вое-, хитительный стан милой девушки, поспешно вскочил на ноги, держа ее на руках. Она вскрикнула от страха; но когда увидела меня, то застыдилась и, вырвавшись из моих рук, спустилась на землю.

- Ах, это вы, Демид Калистратович! - сказала она,- я, право, думала, что здесь в траве притаился медведь. Что вы тут делаете?

- Я... отдыхаю!-отвечал я, смутясь и не нашед приличнейшего ответа.

- Отдыхаете, в траве, под плетнем? Право, я что-то не верю! подхватила она с усмешкой.- Нет ли тут какой-нибудь студенческой шутки?

Я не знал, как оправдаться, и решился лучше сказать всю правду. "Признаться, - молвил я с запинкой, - мне хотелось взглянуть на вас, Настасья Петровна!.."

- На меня? да что вам в этом?-сказала она весело.

- Душа моя так и следит за вами; а где душа, там и глаза! - отвечал я немного посмелее и даже с некоторым жаром.

Она потупила глаза и промолчала. Мы тихо пошли вместе по лесной тропинке, и когда уже

садовый плетень скрылся у нас из виду за чащею дерев, тогда Настуся, как бы надумавшись или ободрясь, сказала мне с откровенною улыбкой: "Так вы не шутя меня любите, Демид Калистратович?"

- Ох! люблю так, как никто в свете не может любить вас! - вскричал я с живостию.

- Для чего же вы не хотите выполнить волю матушки моей? Она не хочет меня видеть попадьёю; а по мне, признаюсь, все равно, в чем бы вы ни были: в рясе ли, во фраке ли, в губернском ли мундире.

- Как это понимать? - спросил я сомнительно, - это значит, кажется, что я равно вам не мил, во что бы ни оделся?

- О нет, совсем не то! - отвечала она простодушно. - Постарайтесь только уговорить вашего батюшку; а там - мы увидим.

Я поблагодарил милую девушку в несвязных, но жарких выражениях, не скрыл от нее препятствий и затруднений, предстоявших нам, и высказал ей, как умел, все, что было у меня на душе. Она краснела и смотрела в землю, как будто б искала грибов по дороге; но улыбалась очень умильно. Я не слышал под собою ног от радости, что мог говорить с нею наедине. Мы ходили с полчаса по самым глухим тропинкам, где не встречали не только человека, но даже никакого домашнего животного; при всем том ни одно преступное желание не закрадывалось в мое сердце, я любил эту милую девушку и уважал ее, как нечто святое. Наконец она, как будто очнувшись от забытья, вдруг сказала: "Ах, боже мой! я с вами и время позабыла! Матушка, верно, уж воротилась: она поехала версты за три, на винокурню. Беда мне, если она хватится меня и не отыщет в саду!" С сими словами она полетела как птичка вдоль по тропинке и скоро исчезла у меня из глаз, унеся с собою минутные мои радости.

Я остался опять один бродить по роще; поздно пришел я домой, грустнее и мрачнее прежнего. Это свидание с Насту-сей еще более открыло мне, какого сокровища я лишился; и от чего? от обоюдного упрямства наших родителей! Я сел в углу на лавке, сложа руки и спустя голову; не жаловался и даже не вздыхал; но, конечно, заметно было, что я страдал внутренне, ибо добрая мать моя смотрела на меня с тоскливым участием. Отец мой также давно уже заметил, что я очень похудел, что я, вопреки прежней моей хорошей привычке, почти ничего не ел, не принимался за книги и был молчалив как рыба. В этот раз, видно, сильнее прежнего пробудилось в нем родительское сострадание, и он приступил ко мне с расспросами:

- Здоров ли ты, Демид?

- Здоров,- отвечал я угрюмо и отрывисто.

- Что же с тобою делается?-спросил он немного поостроже.

- Ничего! - отвечал я по-прежнему.

- Ты не пьешь и не ешь, бродишь по целым дням бог знает где, молчишь, как немой. Ты совсем одичал: не показываешься добрым людям и смотришь каким-то юродивым... Ума не приложу, какая дурь забралась к тебе в голову! Я молчал.

- Уж не молодая ли Опариевна сушит и крушит тебя?- продолжал он. - Ох, мне эти любовные бредни! Сколько - и по Священному писанию видно - мудрых и сильных мужей сбивалось от них с прямого пути. Довольно напомнить о мудрейших: Давиде и Соломоне, и о сильнейшем из смертных - Сампсоне. А все еще эти поучительные примеры не устрашают безрассудных человек: имеют уши - и не слышат!

Я все молчал.

- Ну, быть так,- сказал отец мой после некоторой расстановки, смягчив свой голос.- Если только этим можно тебя спасти от сумасшествия или от сухотки, то благослови тебя господь, и вот тебе мое родительское благословение: иди в гражданскую службу.

Я вскочил, как пробужденный из мертвых, и бросился целовать руку моему отцу. Мать тоже не вытерпела: слезы полились у нее из глаз, и она хотела упасть в ноги перед своим мужем; но он удержал ее.

- Полно, полно! - сказал он растрогавшись, - благодарите бога, а меня благодарить не за что. Я и теперь соглашаюсь скрепя сердце; мне очень не, хотелось бы, чтобы сынмой пошел иным путем, нежели его отец и дед. Да уж видно, на то власть божия, ее же не преиждешь.

Я совершенно ожил: стал и весел, и говорлив, начал и есть и пить по-прежнему. Можно было подумать, что сама природа требовала восстановления сил, как будто бы по выздоровлении тела от тяжелой болезни. Одного только я добивался: увидеться с Настусей еще однажды перед отъездом, и для того по-прежнему посещал я роцзу за садом Матроны Якимовны. Об учебных книгах мне уже не для чего было думать; их заменил у меня Овидий старинного издания, без начала и конца, купленный мною на рынке за 30 копеек, да том эклог Сумарокова, не знаю какими судьбами закравшийся в число книг моего отца.

На третий день я увиделся с Настусей, объявил ей о счастливой перемене моих обстоятельств и просил ее подождать до тех пор, пока офицерский чин даст мне право на получение руки ее. Матушка моя приняла на себя уведомить о том же Матрону Якимовну и взять с нее слово. Дела мои шли по желанию: надежда меня оживляла. Весело простился я с Настусей, и через несколько дней я и отец мой были уже на пути в губернский город.

Не трудно было отцу Калистрату склонить преосвященнейшего владыку на увольнение меня из духовного звания; еще легче было ему определить меня в статскую службу. Священник, покровительствуемый архиереем, протодиакон и другими значительными духовными лицами, предъявляющий сверх того предварительные и ясные свидетельства своей благодарности, не мог быть отвергнутым просителем в таком деле, которое обещало и впредь господам членам присутствия вышереченные знаки благодарности. Меня определили копиистом в уголовную палату. Я переменял образ жизни, приемы и привычки и повел себя соответственно новому моему званию, по пословице: с волками вой.

Прошел год, и другой уже приближался к концу. Уже я, в силу доказательств об отлично-ревностной и деятельной моей службе доказательств, подкреплявшихся убедительными доводами из Крохалиевки,-подписывался твердою и размашистою рукою: "Канцелярист Демид СластЈна". В это время постигло меня жестокое несчастье: почтенный родитель мой, отец Калистрат, скончался от сильной простуды, приключившейся ему, когда он в ненастную осеннюю погоду провожал одного из прихожан своих в место вечного успокоения. Мать моя звала меня к себе; я отправился в Крохалиев-ку, оплакал свежую могилу отца и сделал нужные распоряжения. Как мы жили в собственном доме и не на церковной земле, то и оставил мать мою полною госпожою дома и всей нашей собственности и, сдав преемнику отца моего все то, чем покойник владел по своему званию, продал все лишнее из пожитков отцовских: его богатые рясы, трости, шубы и т. п., оставя себе на память только любимые его вещи. Устроив все таким образом, я возвратился в город и продолжал мою однообразную, но не вовсе бесполезную службу.

Протянулся еще год. Я был повышен чином, и губернский регистратор Демид Калистратович СластЈна мог уже представиться Матроне Якимовне Опариихе как достойный жених ее дочери. Я выпросил себе отпуск на довольно долгий срок и отправился в Крохалиевку.

Лучше бы я не приезжал сюда!.. Я чуть не попал на свадьбу Настасьи Петровны с каким-то

майором и застал добрую мать мою тяжело больною с печали. От нее узнал я следующие подробности.

Майор этот, уволенный (и едва ли по своей доброй воле) от службы, мимоездом очутился в Крохалиевке и почти с бою сам себе отвел квартиру в доме Матроны Якимовны. Молодец он был, видно, не промах: тотчас явился к хозяйке дома с извинениями, из которых самое убедительное было то, что он не привык останавливаться в крестьянских избах. Одаренный беглым языком и свойством ни от чего не краснеть и не запинаться, он умел пустить пыль в глаза Матроне Якимовне: уверил ее, что ему обещано место городничего в нашем городе и что у него есть хорошее поместье в одной из великороссийских губерний; но как сие последнее заверение должно было-согласить с довольно поношенным его платьем и скудным дорожным скарбом, то он прибавил, что поместье находится под опекой, по причине тяжбы за оное с богатыми и алчными родственниками. Вероятно, он умел всем сим рассказам придать вид правдоподобия и убеждения, ибо Матрона Якимовна с первого раза поверила ему на слово. Майор был среднего роста, сухощав и прихрамывал одной ногою, о которой говорил, что прострелена была на сражении. Бог весть, правда ли это, ибо формулярного списка его я не видал. Густые черные бакенбарды с проседью закрывали пол-лица у этого отставного витязя и придавали ему вид богатырский, даже отчасти суровый. Он сказывал, что ему тридцать пять лет от рождения; но, судя по виду, можно бы смело придать ему еще десяток. Матрона Якимовна, которая во сне и наяву бредила людьми чиновными, была от него без памяти и уговорила его отдохнуть с дороги в ее доме, сколько ему угодно. Майор того только и ждал. Мало-помалу он вкрался в дружбу и доверие к хозяйке своей и даже, говорят, - не знаю, правда ли, нет ли - вскружил голову Настасье Петровне. Сердце женское есть такая мудреная загадка, которой никогда не мог я разгадать. Короче, не прошло и двух недель, как уже в Крохалиевке заговорили о свадьбе. Еще неделя - и уже ее отпировали.

Мать моя, при первой вести об этой страшной помолвке, пошла к Матроне Якимовне и напомнила ей данное мне честное слово. "А разве я не сдержала его? - отвечала г-жа Опарииха насмешливо.- Сами вы видели, что я не выдавала моей дочери замуж, пока сын ваш не вышел в чины. Теперь же, как он стал человеком чиновным, так и для ней пришел час воли божией. Милости просим на свадьбу!" - Что было отвечать на сей лукавый изворот? Матушка моя возвратилась домой с тем же, с чем и пошла, наплакалась досыта и даже слегла в постель. Я застал ее в припадках томительной горячки.

Болезнь ее усиливалась со дня на день, и мне уже было не до Матроны Якимовны и не до Настуси... На двенадцатый день по приезде моем я шел за гробом доброй, чадолюбивой моей матушки.

С той поры Крохалиевка мне опостылела. Я продал отцовскую землю, мельницу и пасеку; оставил только, как бы по темному предчувствию, дом с садом и поместил в нем старого ослепшего дьячка с хилою его женою, на память по моем отце, которому сей дьячок с лишком тридцать лет сопутствовал на разные церковные службы и мирские требы. Этой же бедной чете предоставил я в полное распоряжение и сад мой, чтоб она могла чем-нибудь пропитаться на старости.

Вырученными за движимое и недвижимое имущество покойного моего отца и собранными с должников его деньгами мог я безбедно дотянуть свой век, хотя бы он продлился еще втрое; ибо я привык к умеренности и порядку. Изо всех моих должников одна только Матрона Якимовна была несостоятельною плательщицей: она откладывала уплату под разными предложениями, переписывала с году на год заемные письма и во всяком случае старалась что-нибудь да выторговать. Я мало об этом заботился, препоручил все хлопоты с нею бывшему свату моему Савелию Дементьевичу; но избегал случая встретиться с нею или с Настасьей Петровной и уехал в город, не выдавшись ни с кем из них.

Через год, увидевшись с одним из панков крохалиевских, я узнал от него, что в доме Матроны Якимовны шел, как говорится, дым коромыслом. Майор, как на поверку вышло, не имел не только поместья, но ни души, даже собственной, и сверх того был картежник и гуляка; он самовольно завладел имением своей тещи, проматывал его, дрался с нею и мучил бедную жену свою. Несчастливая, как мне сказывали, страшно похудела, и глаза ее ни днем, ни ночью не осушались от слез.

Спустя еще около трех лет получил я письмо такого содержания:

"Матушка моя умерла от бедности и горя, муж мой лежит в параличе. Я и трое жалких детей моих нуждаемся в самом необходимом. Нас за долги выгоняют из дому. Сделайте милость, не взыскивайте с меня хотя до времени денег, должных вам покойницею матушкой, и пр... Настасья Прытицкая".

Сердце мое стеснилось от жалости и грустных воспоминаний. Я возвратил Настасье Петровне заемное письмо ее матери с распискою в получении долга; приложил к нему еще, что бог мне внушил послать ей; и как в это время ни старого дьячка, ни жены его не было уже на свете, то я укрепил дом мой в Крохалиевке и с садом за Настасьей Петровной и детьми ее. Там она по смерти мужа живет и теперь, хоть не богато, но безбедно. Бог печется о сирых и страждущих!

Что до меня, я уже больше не думал о женитьбе. Первые мечты моего счастья рассеялись как дым; и теперь я коротаю век мой старым, безродным бобылем. Хожу на службу, держусь во всей строгости моей присяги, равнодушно сношу ропот сочленов моих, разнящихся со мною во мнениях, вечером читаю, что бог послал, и от скуки веду свои записки. Не знаю, займут ли они вас, милостивые государи, столько же, как меня; во всяком случае, желаю вам удовольствия.

(Этот отрывок из записок Демида Калистратовича Сластѣны был мне доставлен одним из его земляков. Мне, как издателю оных, оставалось только присовокупить к ним примечания для объяснения некоторых малороссийских слов, обычаев и т. п.)